

АФИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОМНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

•

Редакционная коллегия:

Г. А. БЯЛЫЙ
С. А. МАКАШИН
М. П. ЕРЕМИН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

А.Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

•

ТЫСЯЧА ДУШ
РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

Комментарии

М. П. ЕРЕМИНА и К. И. ТЮНЬКИНА

Оформление художника

Е. ГОЛЬДИНА

П 4702010100-046 подписное
028(01)-83

© Оформление, комментарии. Из-
дательство «Художественная
литература», 1983 г.

ТЫСЯЧА ДУШ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В приказах гражданского ведомства было, между прочим, сказано: «Увольняется штатный смотритель энского уездного училища, коллежский асессор Годнев, с мундиром и пенсионом, службе присвоенными»; потом далее: «Определяется смотрителем энского училища кандидат Калинович».

Прочитав этот приказ, автор невольно задумался. «Увы! — сказал он сам себе, — в мире ничего нет прочного. И Петр Михайлыч Годнев больше не смотритель, тогда как по точному счету он носил это звание ровно двадцать пять лет. Что-то теперь старик станет подделывать? Не переменит ли образа своей жизни и где будет каждое утро сидеть с восьмью часами до двух вместо своей смотрительской каморы?»

В Энске Годнев имел собственный домик с садом, а под городом тридцать благоприобретенных душ. Он был вдов, имел дочь Настеньку и экономку Палагею Евграфовну, девицу лет сорока пяти и не совсем красивого лица. Несмотря на это, тамошняя исправница, дама весьма неосторожная на язык, говорила, что ему гораздо бы лучше следовало на своей прелестной ключнице жениться, чтоб прикрыть грех, хотя более умеренное мнение других было таково, что какой уж может быть грех у таких стариков, и зачем им жениться?

Петра Михайлыча знали не только в городе и уезде, но, я думаю, и в половине губернии: каждый день, часов в семь утра, он выходил из дома за припасами на рынок и имел при этом случае привычку поговорить со встреч-

ным и поперечным. Проходя, например, мимо полуразвалившегося домишка соседки-мещанки, в котором из волокового окна выглядывала голова хозяйки, повязанная платком, он говорил:

— Здравствуй, Фекла Никифоровна.

— Здравствуйте, батюшка Петр Михайлыч,— отвечала та.

— Давно ли из губернии воротилась?

— Вчерашним днем, сударь, прибыла. Не на конной, батюшка, подводе, пешком отшлепала по экой пó грязи.

— Как дела-то идут?

— Дела мои, Петр Михайлыч, по начальству пошли.

— Ну, коли по начальству, так хорошо.

— Да хорошо ли, отец мой?

— Хорошо... хорошо...— говорил Годнев, идя далее.

Сказать правду, Петр Михайлыч даже и не знал, в чем были дела у соседки, и действительно ли хорошо, что они по начальству пошли, а говорил это только так, для утешения ее.

У каменного купеческого дома стоял кучер в накинутом на плечи полушубке, и его Петр Михайлыч считал за нужное обласкать.

— Что, брат, объездил ли лошадку-то? — спрашивал он.

— Нешто-с... выламывается поманеньку,— отвечал тот.

— Видел я... видел... Ты молодец... ловкий ездок!

Кучер самодовольно улыбался.

Мясную лавку, куда шел Годнев, купец только еще отпирал.

— Эге, Силиверст Петрович, поздненько нынче выплыл,— говорил Годнев.

— Что делать, Петр Михайлыч! Позамешкался грешным делом,— отвечал купец.— Что парнишко-то мой: как там у вас? — прибавлял он, уходя за прилавок.

— Что парнишко? Ничего, хорошо: способности есть; резов только; вчера опять два стекла в классе вышиб,— отвечал Петр Михайлыч.

— Фу-ты, господи, твоя воля! — восклицал купец, пожимая плечами.— Что только мне с этим парнем делать — ума не приложу; спуску, кажись, не даю ему ни в чем, а хошь ты брось!

— Ну, зачем же? Чересчур не надобно: хуже заколотись.

— Заколотишь его, пострела, как бы не так! — возражал купец и потом прибавлял: — Говядинки, что ли, прикажете отвесить?

— Да, сударь, хоть говядинки; смотри, только помягче.

— Неужели жесткой! Худой вам не отпустим... худое мы про генеральш здешних бережем.

— Ну, вот уж и про генеральш! Экой вы, торговый народ, зубоскалы!

— Право, так. Не знаем только, куда эта барыня с почмейстером деньги берегут.

Петр Михайлыч только усмехался и качал головой.

Из мясной лавки он проходил во внутренность гостиного двора, где торговки торговали калачами, горшками, зеленью, нитками и разного рода другими припасами.

— Ты, луковница, опять с своим товаром выехала! — говорил Петр Михайлыч бабе, около которой стояла большая корзина с луком.

Он терпеть не мог луку.

— Полно-ка, полно, старый барин хороший, на почи-не оговаривать, возьми-ка лучше прядку, да и разговаривай.

— Дура, я не ем луку.

— То-то вы, баря: «луку не ем», все бы вам сахару.

— Ну, уж не сердчай, давай прядочку, — говорил Годнев и покупал лук, который тотчас же отдавал первому попавшемуся нищему, говоря: — На-ка лучку! Только без хлеба не ешь: горько будет... Поди ко мне на двор: там тебе хлеба дадут, поди!

Навстречу ему шел священник. Петр Михайлыч еще издали ему кланялся.

— Здравствуйте, — говорил он, снимая картуз и подходя к благословению.

— Здравствуйте, — отвечал тот густым басом.

— Что, отче, прочли мою книжку али еще нет?

— Прочел и намеревался сего же дня возвратить ее с моею благодарностью. Приятное сочинение.

— Да, да, поучительная книга... Занесите как-нибудь.

— Непременно, — отвечал священник и истово раскланивался.

Возвратившись домой, Петр Михайлыч проходил прямо на кухню, где стряпуха, под личным надзором Палагеи Евграфовны, затапливала уж печь.

— Вот тебе, командирша, снеси и блага земные! — говорил он, подавая экономке кулек, который та, приняв, начинала вынимать из него запас, качая головой и издавая восклицания вроде: «Э... э... э... хе, хе, хе...»

— Ну, заворчала! Эх ты, ворчунья, сударыня... Дурно, что ли, купил?

— Хорошо, — отвечала на это Палагея Евграфовна насмешливым тоном.

Она никогда не оставалась покупками Петра Михайлыча довольною и была в этом совершенно права: приятели купцы то обвешивали его, то продавали ему гнилое за свежее, тогда как в самой Палагее Евграфовне расчетливое хозяйство и чистоплотность были какими-то ненасытными страстями. Будучи родом из каких-то немок, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, шикнуть не умела. Приехав неизвестно как и зачем в уездный городишко, сначала чуть было не умерла с голоду, потом попала в больницу, куда придя Петр Михайлыч и увидев больную незнакомую даму, по обыкновению, разговорился с ней; и так как в этот год овдовел, то взял ее к себе ходить за маленькой Настенькой. Но Палагея Евграфовна, вступив нянькой, прибрала мало-помалу к своим рукам и все домоуправление. С самого раннего утра до поздней ночи она мелькала то тут, то там по разным хозяйственным заведениям: лезла зачем-то на сеновал, бегала в погреб, рылась в саду; везде, где только можно было, обтирала, подметала и, наконец, с восьми часов утра, засучив рукава и надев передник, принималась стряпать — и надобно отдать ей честь: готовить многие кушанья была она великая мастерица. Особенно хороши выходили у ней все соленые и маринованные приготовления; коренная рыба, например, заготавливаемая ею в великий пост, была такова, что Петр Михайлыч всякий раз, когда ел ее в летние жары с ботвиньей, говорил:

— Этакой, господа, рыбы и ботвиньи сам Лукулл не едал!

Манишки и шейные платки для Петра Михайлыча, воротнички, нарукавнички и модести для Настеньки Палагея Евграфовна чистила всегда сама и сама бы, кажется, если б только сил ее доставало, мыла и все прочее, потому что, по собственному ее выражению, у нее кровью сердце обливалось, глядя на вымытое прачкою белье.

Когда спала и чем была сыта Палагея Евграфовна — определить было довольно трудно, и она даже не любила,

если ей напоминали об этом. Чай пила как-то урывками, за стол (хоть и накрывался для нее всегда прибор) садилась на минуточку; только что подавалось горячее, она вдруг вскакивала и уходила за чем-то в кухню, и потом, когда снова появлялась и когда Петр Михайлыч ей говорил: «Что же ты сама, командирша, никогда ничего не кушаешь?» — Палагея Евграфовна только усмехалась и, ответив: «Кабы не ела, так и жива бы не была», — снова отправлялась на кухню.

Жалованье (сто двадцать рублей ассигнациями в год) Палагея Евграфовна всегда принимала с некоторым принуждением. В конце каждого месяца Петр Михайлыч приносил ей обыкновенно десять рублей.

— Это что еще? — говорила экономка.

— Деньги ваши. Деньги — вещь хорошая. Не угодно ли получить и расписаться? — отвечал тот.

— Э... перестаньте с вашими глупостями! — говорила, отворачиваясь, экономка и начинала смотреть в окно.

— Порядок, мать-командирша, не глупость. Изволь взять! — говорил Годнев настоятельнее.

— Точно я у вас не сыта, не одета, — говорила Палагея Евграфовна и продолжала смотреть в окно.

— Изволь, изволь братъ; знаешь, не люблю! — говорил Годнев еще настоятельнее.

Палагея Евграфовна сердито брала деньги и с пренебрежением кидала их в рабочий ящик.

Всякий раз при этой сцене, несмотря на недовольное выражение лица, у ней навертывались на глазах слезы.

— Взял нищую с дороги, не дал с голоду умереть да еще жалованье положил, бесстыдник этакой! У самого дочка есть: лучше бы дочке что-нибудь скопил! — ворчала она себе под нос.

— А ты мне этого, командирша, не смей и говорить, — слышишь ли? Тебе меня не учить! — прикрикивал на нее Петр Михайлыч, и Палагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалованье с неудовольствием.

Передав запас экономке, Петр Михайлыч отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода:

— Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись... Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо... надо давать время занятиям, время отдыху и время сну.

— Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила.

— И то дурно: что ж мы будем сегодня читать? Вот вечером и нечего читать.

— Нет, я вам ее дочитаю, я с удовольствием прочту ее еще раз; и вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек.

— Ну, ну, не рассказывай! Изволь-ка мне лучше прочесть: мне приятнее от автора узнать, как и что было,— перебивал Петр Михайлыч, и Настенька не рассказывала.

После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукодельем она не занималась. Петр Михайлыч, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо «Теркой». Надобно было иметь истинно христианское терпение Петра Михайлыча, чтобы держать Гаврилыча в продолжение десяти лет сторожем при училище, потому что инвалид, по старости лет, был и глуп, и ленив, и груб; никогда почти ничего не прибирал, не чистил, так что Петр Михайлыч принужден был, по крайней мере раз в месяц, нанимать на свой счет полумоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогретыми щами, которые он обыкновенно и становил с вечера в смотрительской комнате в печку на целую ночь. Петр Михайлыч почти каждый раз, приходя поутру, говорил:

— Ты, гренадер, опять щи парил. Экую душину напустил! Смотри-ка: не дохнешь!

— Ну да, парил, у тебя все парил! — возражал Гаврилыч.

— Да как же не парил! Еще запираешься, лжешь на старости лет, греховодник!

— Погляди сам в печку, так, може, и увидишь, что тамotka ничего нет.

— Знаю, что в печке ничего нет: съел! и сало-то еще с рыла не вытер, дурак!.. огрызается туда же! Прогоню, так и знаешь... шляйся по миру!

— Гони! словно миром не живут,— отвечал Терка и уходил.

— Дурак! — повторял ему вслед Петр Михайлыч.

Впрочем, тем все и кончалось.

Занявшись в смотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов, Петр Михайлыч обходил училище и начинал, как водится, с первого класса, в котором, тоже как водится, была пыль столбом.

— Ах вы, эфиопы! татарская орда! А?.. Тише!.. Молчать!.. Чтобы муха пролетала, слышно у меня было! — говорил старик, принимая строгий вид.

В классе несколько утихало.

— Зашумите вы у меня еще раз! всех переберу — из девяти возьму десятого на выдержку! — заключал он торжественно и уходил.

В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног.

— Что ты? Что ты, братец? — говорил, разводя руками, Петр Михайлыч. — Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену, погоди ты у меня!

— Петр Михайлыч, меня Модест Васильич без обеда оставил; я не виноват-с! — говорил третьего класса ученик Калашников, парень лет восемнадцати, дюжий на взгляд, нечесаный, неумытый и в чуйке.

— Когда оставил, стало, ты это заслужил, — возражал ему Петр Михайлыч.

— Я, ей-богу, ничего не делал; спросите всех. Они на меня, известно, нападают. Мне сегодня нельзя: день базарный; у тятеньки в лавке некому сидеть.

— И лучше, что нельзя, лучше расскаешься и поймешь, что дурить и грубить не следует, — говорил Петр Михайлыч и поскорее уходил.

Калашников его передразнивал, так что старик все слышал:

— Грубить и дурить не следует, — ту, ту, ту, тетерев! Я и без шапки убегу; много с меня возьмешь! — говорил он и с досады отламывал закраину у карты.

Вообще строгость и крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайлыча. Со школьниками он еще кое-как справлялся и в крайней необходимости даже посекал их, возлагая это, без личного присутствия, на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда; однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть, если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот, выскочив из смотрительской, часа два отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился ста-

рик, когда ему нужно было делать замечание или выговоры учителям. Этому, впрочем, подпадал один только преподаватель истории Экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжение всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, очень молчалив и предмет свой знал прекрасно; но только что получал жалованье, на другой же день являлся в класс развеселый: с учениками шутит, пойдет потом гулять по улице — шляпа набоку, в зубах сигара, попевает, насвистывает; пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить; к женскому полу получает сильное стремление и для этого придет к реке, станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье, и любитесь... Посуда, окна, домашние не попадайся: исколотит. А проспится, опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает из какого звания, с пятерыми детьми, — женщине глупой, вздорной, по милости которой он, говорят, и пить начал. Во все время, покуда кутит муж, Экзархатова убегала к соседям; но когда он приходил в себя, принималась его, как ржа железо, есть, и достаточно было ему сказать одно слово — она пустит в него чем ни попаало, растреплет на себе волосы, платье и побежит к Петру Михайлычу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит:

— Батюшка, Петр Михайлыч, сделайте божескую милость! Что это такое?.. Батюшка!..

— Что такое случилось? Что вам угодно от меня? — спрашивает Годнев, хотя очень хорошо знал, что такое случилось.

— Известно что: двои сутки пил! Что хошь, то и делайте. Нет моей силушки: ни ложки, ни плошки в доме не стало: все перебил; сама еле жива ушла; третью ночь с детками в бане ночую.

— Боже мой! Боже мой! — говорил Петр Михайлыч, пожимая плечами. — Вы, сударыня, успокойтесь; я ему поговорю и надеюсь, что это будет в последний раз.

— Батюшка, да ты хорошенько с него спроси; нельзя ли как-нибудь... хошь бы ты посек его.

— Как это можно, сударыня! Вам и говорить этого не следует, — возражал Петр Михайлыч.

— Гаврилыч! — кричал он. — Подите и попросите ко мне господина Экзархатова.

И Экзархатов являлся, немного сутуловатый, в потер-

том вицмундире, с лицом истощенным, с сипяком на левом глазу... вообще фигура очень печальная.

— Вы, Николай Иванович, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться! Сами, я думаю, знаете греческую фразу: «Пьянство есть небольшое бешенство!» И что за желание быть в полусумасшедшем состоянии! С вашим умом, с вашим образованием... нехорошо, право, нехорошо!

— Виповат, Петр Михайлыч, сам очень хорошо чувствую,— отвечал Экзархатов и еще ниже потуплял голову.

— Ты, рожа этакая безобразная! — вмешивалась Экзархатова, не стесняясь присутствием зрителя, — только на словах винишься, а на сердце ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребят, какой ты поилец и кормилец! Не воровать мне, не по миру идти из-за тебя!

— Так, так,— говорил Годнев, качая головой.

— Виноват, Петр Михайлыч,— повторял Экзархатов.

— Верю, верю вашему раскаянию и надеюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу вас идти к вашим занятиям,— говорил Петр Михайлыч.— Ну вот, сударыня,— присовокупил он, когда Экзархатов уходил,— видите, не помиловал; приличное наставление сделал: теперь вам нечего больше огорчаться.

Но Экзархатова не оставалась этим довольна.

— А что мне не огорчаться-то? Что вы ему сделали?.. По головке еще погладили пса этакова? — говорила она.

— Ай, ай, ай! как это стыдно даме такие слова говорить! — возражал Петр Михайлыч.— Супруги должны недостатки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью.

— Тыфу мне на его любовь — вот он, криворожий, чего стоит! — возражала Экзархатова.— Кабы знала, так бы не ходила, потатчики этакие! — присовокупляла она, уходя.

Петр Михайлыч усмехался и говорил сам с собой:

— Характерная женщина! ах, какая характерная! Сгубила совсем человека; а какой малый-то бесподобный! Что ты будешь делать?

Проходя из училища домой, Петр Михайлыч всегда был очень рад, когда встречал кого-нибудь из знакомых помещиков, приехавших на время в город.

— Остановитесь на минуточку! — кричал он.

Помещик останавливался.

— Надолго ли? — спрашивал Петр Михайлыч.

— До завтра.

— А сегодня никуда не званы обедать?

— Нет, ни у кого еще не был.

— Так что же, приезжайте щей откусать; а если нет, так рассержусь, право, рассержусь. С год уж мы не виделись.

— Благодарю вас. Буду, если позволите. Сейчас только в суд заеду.

— Дóбре, дóбре, вот это по-нашему, по-приятельски. До свиданья, — говорил Петр Михайлыч.

Против этой его привычки приглашать к себе обедать постоянно восставала Палагея Евграфовна.

— А что, мать-командирша, что мы будем сегодня обедать? — спрашивал он, приходя домой.

— Будете сыты, не беспокойтесь.

— То-то; я пригласил одного человека...

— Что это, Петр Михайлыч, никогда заблаговременно не скажете, и что у вас всё гости да гости! Не напасешься ничего, да и только.

— Ну, ну, полно, командирша, ворчать! Кто не любит разделить своей трапезы с приятелем, тот человек жадный.

Впрочем, и Палагее Евграфовне было не жаль: она не любила только, когда ее заставляли, как она выражалась, *неприпасенную*. Кроме случайных посетителей, у Петра Михайлыча был один каждодневный — родной его брат, отставной капитан Флегонт Михайлыч Годнев. Капитан был холостяк, получал сто рублей серебром пенсии и жил на квартире, через дом от Петра Михайлыча, в двух небольших комнатках. В противоположность разговорчивости и обходительности Петра Михайлыча, капитан был очень молчалив, отвечал только на вопросы и то весьма односложно. Он очень любил птиц, которых держал различных пород до сотни; кроме того, он был охотник ходить с ружьем за дичью и удить рыбу; но самым нежнейшим предметом его привязанности была легавая собака Дианка. Он с ней спал, мыл ее, никогда с ней не разлучался и по целым часам глядел на нее, когда она лежала под столом развалившись, а потом усмехался.

— Чему это, капитан, вы смеетесь? — спрашивал его Петр Михайлыч. Он всегда называл брата «капитаном».

— Да вон-с, Дианка, спит, — отвечал тот.

Постоянный костюм капитана был форменный воен-